

Зайцев Бор. Последнее путешествие // Русская мысль. Париж, 1954.
14 июля. № 657. С. 4, 5.

ПОСЛѢДНЕЕ ПУТЕШЕСТВІЕ

ЧЕХОВ заканчивал "Вишневый сад" осенью 1903 года, в Ялте. Театр торопил его, хотѣли скорее ставить. Ему сильно мѣшала болѣзнь. "Пьесу я почти окончил, но дней 8-10 назад я заболѣл, стал кашлять, ослабѣл, одним словом, началась прошлогодняя исторія. Теперь, т. е. сегодня, стало тепло и здоровье как будто стало лучше, но все-же писать не могу, так как болит голова" *).

Книшнер писала ему из Москвы меланхолически ("меня ужасает одиночество и никому ненужное существованіе мое"). Несмотря на головную боль он ее подбодряет: "надо держаться крѣпко". Но все-таки, все-таки... — какой климат для окончанія пьесы! "Дуся, как мнѣ трудно было писать пьесу! Скажи Вишневскому, чтобы он нашел мнѣ мѣсто акцизнаго".

В половинѣ октября он все же пьесу отправил. В декабрѣ пріѣхал в Москву и сам. Была настоящая московская зима со снѣгом и морозом, Ваишками, ухабами на улицах. Раздвигаясь в передней огромной квартиры Телешева на Чистых прудах, писатели стряхивали с барашковых воротников звѣзды-снѣжинки. Николай Дмитриевич дружелюбно приветствовал Леонида Андреева в бархатной курткѣ, Сергѣя Глагола в длинном сюртукѣ. "Здорово, Леонид!" "Ну как, Сергѣич?" Сергѣй Глаголь откидывая рукою прядь волос, обнимал его. По московскому обычаю, почти вѣсь при встрѣчѣ цѣловались — это входило особой чертой в уютность, мягкость той жизни.

На этот раз собралось на "Среду" больше обыкновеннаго: ждали Чехова.

*) Орывок из кн. «Чехов», выходящей в Чех. Изд-вѣ.

Не помню, что в этот вечер читали. Не помню, и точно, кто именно был из писателей, кромѣ двух-трех. Не в них было дѣло.

Чехов пріѣхал к ужину, довольно поздно. Мы толпились, собирались уже разсаживаться за длинным столом с водками, винами, разными грибами, икрой, балыками, когда в дверях показалась Ольга Леонардовна. Под руку вела она Антона Павловича. Как он измѣнился! В Ялтѣ, когда я видѣла его три года назад, тоже не был он герой, все-таки спускался в городской сад, шел за столиком красное вино, гулял один у моря.

Слабо поздоровавшись, сѣро-зеленоватый, со впалой грудью, был он посажен в центрѣ этого стола, на котором все, как будто, было не для него. Он почти и не ѣл, и почти не говорил. Нѣкогда, в 88 году, писал про стараго Плещеева, Гостившаго тогда у Липтваревых, что он как бы икона (интеллигентская — был петрашевцем, вмѣстѣ с Достоевским стоял на эшафотѣ).

Чехову было сейчас сорок четыре года. По теперешнему чуть-ли не молодость, по тогдашнему — зрѣлый возраст с уклоном к старости. Но болѣзнь придавала ему отблеск ветхости. Это уже не старость, а нѣкое отдаленіе от жизни. И то, как вводила его Ольга Леонардовна, как почтительно перед ним разступались, как сажали на почетное мѣсто — все это имело икона, литературная, в домѣ Николая Дмитриевича Телешева.

Так посѣтил нас из "Среды" Чехов, безмолвный и полуживой, головой выше каждаго из присутствовавших и сам отсутствующій уже чѣм-то поснувшійся много.

А вокруг водочка и грибы, осет-

рыбки и майонезы, веселое московское балагурство.

Может быть, он и говорил с кемнибудь, немного. Но для меня остался безмолвником, приехавшим, посидевшим с нами и скоро, так-же бесшумно уехавшим, как и явился.

17 января 1904 г., в день его именин, в Художественном Театре прошла премьера "Вишневого сада". Приворовали — кажется, не совсем правильно — и к его литературному 25-летию, устроили в театре чествование. Чехов ненавидел юбилеи, не раз высмеивал их, но тут уступил. Все было пышно и торжественно. Он едва держался на ногах, но был прост и мужествен, как всегда. Все это выходило довольно раздражительно. Как будто Москва прощалась с ним.

В СУЩНОСТИ, ему теперь уже ничего не оставалось, кроме смерти. Как он относился к ней? Можно думать, что так-же, как и к болезни: стончески. Вряд-ли мог "доказать" (как говорил Бунину), что душа бессмертна.

Не мог доказать и обратного. Как всю жизнь прожил одиноко и мужественно, так и к уходу приближался. Худьба, слабость, росла одышка. Еще раз съездив в Ялту, пробыл там до мая. В конце мая Телешов вывез его в Москву, перед самым отъездом в Германию, и ужаснулся: Антон Павлович стал совсем маленький, безкровный, бессильный. Про себя прямо сказал: "Буду помирать". И передал поклон московским писателям, тем, кого встречал на "Средах".

Телешов не был ему близкий человек, поэтому он и сказал ему прямо. Близким — Марии Павловне, матери, для которых он был все в жизни, этого не говорил. И писал всегда, даже из заграницы, почти накануне кончины, бодро, "Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами" — выражение это очень ему понравилось, в письмах из Баденвейлера не раз оно встречается.

Баденвейлер курорт в Шварцвальде, недалеко от Швейцарии. Там, в тишине, зелени, проводил Чехов последний июнь своей жизни. Было очень жаркое лето. Несмотря на леса и Шварцвальд, он задыхался от жары. С его одышкой, эмфиземой, ослабевшим сердцем было это, конечно, весьма мучительно. Ему все хотело уехать. "Меня неистово тянет в Италию" — жить оставалось две недели, а вот пишет он так сестре Маше. Тянуло-же русского писателя, такого уж русского, умирать на землях Италии!

Были у него и другие планы, довольно-таки фантастические при его силах: плыть из Триеста мимо Греции и Афона к себе домой в Ялту. Но вездь жара, это его останавливало.

А смерть действовала, как ей нравилось, пришла июльской ночью, в сердечном припадке. Он понял, что пришла. Вынул бокал шампанского, как велел доктор, отвернулся к стене, сказал тихо:

— Ich sterbe.

РАНИМ июльским утром, в золотый и голубизной свята над Москвой, извозчик вез нас с Арбата на Николаевский вокзал. Шагом он подымался к Троицким воротам Кремля, через Кутафью башню. Трусой катил мимо Ивана Великого и Чудова монастыря к выезду в Никольские ворота. Желтые машины пролетки погромыхивали, и жена сидела тихо, с красными глазами. Ехали мы на Николаевский вокзал встречать смертные останки Чехова.

Как все это было скромно, ненарядно! Самый Ванька наш, философски подстегивавший лошадей. Никольская, Мясницкая с пестротой церквей и невысоких домов, булыжная мостовая, встречные домовики, сам Николаевский вокзал, сошедший нас с блестящим Сант Петербургом... Но навряд ли Чехову так и полагалось. Он воз-

вращался в родной город, столь-же не парадный город, простой и естественный, и замечательный, как был он сам. Встретить его на вокзале собрались средние русские люди, студенты и барышни с заплаканными глазами, без генералов и полицеймейстеров, без промышленников и банкиров — были и немощные, но только те, кто просто и сердцем любил его. Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал его гроб, когда выносили мы его с Николаевского вокзала.

Кажется в некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой Домниковской улице, из подвального этажа высунулся в окошко портной с испитым, замученным лицом, спросил: "Генерала хоронят?" "Нет, писателя". "Пи-са-те-ля!"

Путь был далекий, через всю Москву в Новодевичий монастырь.

Этот день так и остался в памяти нашим страданием, долгим, прощальным, сквозь кристалл юных слез, но вместе с тем свѣтым, как бы и очищающим. Даже само горе, — а тогда мы принимали это именно, как горе — просветляло.

У Художественного Театра служили литию. Были литии и в других мѣстах. Все шло неторопливо, но торжественно. Солнце сияло, набѣжали облачка, опять прояснело. Перед Девиным монастырем брызнул дождичек, но не сильный. Зелень, блестящая от влаги, уходившая тучка, капли с деревьев, отдѣльная капля с неба, кусок радуги, купола монастырских церквей, блеск крестов, лавочки, разрытая могила и вокруг толпа. Это и был уход от нас Чехова, упокоение его в том Новодевичьем, где и отец его лежал. Ваня любил он сам хотеть в 97 году на каиник, выздоравливая — стоял скромно у стѣнки в храме, слушая пѣніе новодевичьих монашенок. "И на душе" у него бывало "так странно и тихо".

БОР. ЗАЙЦЕВ